

## Б) НОВЫЕ

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое»\* (Второе послание к Коринфянам, 5, 17).

Если выше сказано: «Для древних истиной был мир», то теперь мы должны сказать: «Для новых истиной был дух», но и здесь, как и там, необходимо добавить: истиной, неистинность которой они стараются познать и наконец познают.

Такое же развитие, какое намечалось в древности, можно проследить и в христианстве: в период, предшествовавший дореформационной эпохе, рассудок был в плену у христианских догматов, а в предреформационный век он поднялся до софистики и стал вести еретическую игру со всеми догматами веры. При этом считалось, особенно в Италии и при римском дворе, что если только душа настроена по-христиански, то рассудок пусть поступает, как угодно.

И еще задолго до реформации так привыкли к хитроумным «перебранкам», что Папа и большинство других считали и диспуты Лютера сначала простой «монашеской перебранкой». Гуманизм соответствует софистике, и так же, как греческая жизнь достигла наиболее пышного расцвета при софистах (век Перикла), так и наиболее блестящим был именно период гуманизма, или, как его тоже можно назвать, макиавеллизма (книгопечатание, открытие Америки и т. д.). Сердца людей тогда еще далеко не стремились освободиться от христианского содержания.

Но реформация, как Сократ, взялась за воспитание сердца, и с тех пор заметно ослабело христианство в сердцах. Тем, что Лютер научил принимать дело христианства ближе к сердцу, этот шаг реформации неминуемо привел к тому, что и сердце облегчилось от тяжелого груза христианства. Сердце становилось со дня на день все менее христианским и теряло занимавшее его содержание, пока наконец ему ничего не осталось, кроме пустой сердечности, самой общей любви, любви к человеку, сознание свободы «самосознания».

Этим христианство завершилось, так как сделалось пустым, омертвевшим и бессодержательным. У него уже не осталось никакого содержания, против которого не восстало бы сердце, разве только если бы оно пробралось в него бессознательно, помимо нашего «самосознания». Сердце беспощадно критикует, обрекая на смерть все, что хочет вкрасться в него, и не способно ни на какую дружбу, ни на какую любовь, кроме только бессознательной, захватившей его врасплох. Да что и любить в людях, если все они «эгоисты», если никто из них не истинный человек, то есть не исключительно дух! Христианин любит только дух, но что случилось бы с человеком, который бы действительно был только духом?

Любовь к человеку с кровью и плотью была бы уже не «духовной» сердечностью, а изменой «чистой» сердечности, «теоретическому интересу». Не следует ведь представлять себе

чистую сердечность как добродушие, побуждающее тепло пожать руку всякому; напротив, чистая сердечность ни к кому не сердечна: это только теоретическое участие, близость к человеку как к человеку, а не личности. Личность ей противна, потому что она «эгоистична», потому что она не идея человека, не человек в идее. А теоретический интерес может относиться только к идее. Для чистой сердечности, или для чистой теории, люди существуют только для того, чтобы их критиковать, осмеивать и до конца презирать: они для него, как и для фанатического попа, нечисть и грязь.

Дойдя до этого крайнего обострения сердечности, очистившейся от всяких интересов, мы наконец приходим к тому, что дух, то есть то единственное, что любит и христианин,— ничто, или, что дух — ложь.

То, что здесь изложено сжато и может быть еще не понятно, то, надеюсь, выяснится при дальнейшем изложении.

Примем же оставленное древними наследство и, как усердные труженики, сделаем из него все, что можно из него сделать. Мир лежит у наших ног, отвергнутый нами, глубоко под нами и нашим небом, которого не достигают более мощные руки мира и куда не доходит его одурманивающее дыхание. Как бы мир ни казался соблазнительным, он может только ослепить наши чувства, дух же он не обманет. Познав то, что за всем предметным, дух в то же время поднялся и над предметным, освободился от его оков, перестал быть рабом, стал потусторонним, свободным. Так говорит «духовная свобода».

Духу, который после долгих усилий освободился от мира, внемирному духу, после утраты мира и мирского остается только дух и духовное.

Но так как он только отрекся от мира и сделался свободным от него существом, не сумев, однако, действительно уничтожить его, то он остается для духа несдвигаемой преградой, чем-то опороченным, а так как, с другой стороны, он ничего, кроме духа и духовного, не знает и не признает, то в нем остается постоянная жажда одухотворить мир, искупить его греховность. Поэтому он, как юноша, носится с мечтами об искуплении мира, об его исправлении.

Древние служили, как мы видели, природному, мирскому, естественному мировому порядку, но беспрестанно вопрошали себя, не могут ли они освободиться от этого служения; и когда они смертельно устали от вечно возобновляемых попыток возмущения, то среди их последних вздохов родился Бог, «преодолевший мир». Все их действия были только житейской мудростью, стремлением познать мир и подняться над ним. А в чем состояла мудрость многих последующих веков? Что хотели постичь новые? Не мир, так как это было делом древним, а Бога, «который есть дух» и все, что относится к духу, все духовное. Но деятельность духа, который исследует даже глубины божества, это — Богословие. Если древние не дали ничего, кроме житейской мудрости, то и новые не шли и не идут дальше богословия. Мы впоследствии увидим, что даже новейшие возмущения против Бога — не что иное, как крайние напряжения «богословия», то есть богословские мятежи.